

«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ» № 5, 31 января 1988 г.

ИСКУССТВО

О некоторых давних сочинениях наших соотечественников, публикуемых сегодня, многие не слышали раньше. О «Докторе Живаго» слышаны. У многих из тех, кто держит сегодня журнальную книжку с этим романом, на совести грех дурных ли, небрежных ли слов, сказанных когда-то о нечитаном сочинении и его авторе.

Есть еще кому, по счастью, рассказывать, как автор писал его и как читал своим первым сочувственным слушателем. Есть кому вписывать все это в раму Москвы второй половины 40-х — начала 50-х, угрюмую, но, впрочем, впрочем, — с вечерней музыкой катков в парках («...И когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи?...» — помните, школьники пятидесятых?), а днем — с вечнообещающим запахом талого снега в марте, с вечношумящим и торжествующим звуком духовых оркестров в яркой осенней листве.

Это школьные — не важнейшие ли в жизни? — годы моего поколения — без имени Пастернака в учебниках литературы, без книг его в школьных библиотеках, но зато с пьесами в Центральном детском театре из «американской жизни». Это годы, когда в ходу в официальной речи было слово «краше» («Все краше и краше становится...»), даже на детский слух звучащее заметно фальшивее, чем слово «лучше», а слово «ныть» («нытики») еще не утратило свою грозную («нытики и маловеры») предостерегающую силу.

Середина пятидесятых, резкий свет, пролитый на недавнее прошлое. И всего два года спустя — мутная завеса, через которую видится нам, толпящимся в университетских уже коридорах, все происходящее с автором неведомого романа со странно звучащим названием. Помню околоченность собственной мысли, чувства, нет даже сколько-нибудь активного желания ясности: ощущение непреложности происходящего — и только.

(Но и тогда — не все мы одинаковы: есть и те среди нас, что едут с Вяч. Вс. Ивановым к поэту в Переделкино).

Помню отчетливо и момент протрезвления — перед уличным стендом с газетой, где в письме, обращенном к властям, с просьбой не сгонять с родной земли, будто дрогнула строка, пробился живой голос никогда мной не слышанного, мало читанного поэта и вызвал, наконец, встречное чувство: «Нет, так невозможно!» Штрихи к биографии моего поколения, которое, как и более ранние, и более поздние в массе своей прочтет сегодня «Доктора Живаго» впервые.

В романе речь идет о гражданской войне — этим словам придается их буквальный смысл: война сограждан друг с другом. Не с внешним врагом, а брата с братом,



На даче Бориса Пастернака в Переделкино. Лето 1987 года.

Фото Андрея КНЯЗЕВА.

В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ...

Мариэтта ЧУДАКОВА

Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» на страницах «Нового мира»

сына с отцом, недавних однокашников. По размаху изображенных событий, по многофигурности композиции роман сопоставляем с «Тихим Доном», а по единству авторского взгляда на вещи в течение всего повествования — с «Белой гвардией» Булгакова.

ОТСУТСТВИЕ какого бы то ни было насилия автора над собственным взглядом отделило роман резкой чертой от многого, написанного о том времени. Для него самого работа над романом была радостна из-за открывшейся внутренней возможности свободного отношения к жизни, чего многие так и не испытают на своем веку. И это окрасит каждую страницу романа. «...Лед тронулся. Колчак отступает на всех фронтах... Видите? Что я говорил? А вы были!», — напоминает Юрию Живаго его собеседник. «Когда это я ныл?» И, обозначив момент, когда это слово только пробуют на вкус, Пастернак напишет: «Доктор вспомнил недавно минувшую осень, расстрел мятежников, детоубийство и женоубийство Палых, кровавую колосматину и человекоубоину, которой не предвиделось конца. Изумерства белых и красных соперничали по жестокости, попеременно возмрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило, она подступала к горлу и бросалась в голову, ею заплывали глаза. Это было совсем не нытье, это было нечто совсем другое».

Так же свободно опишет Пастернак — через судьбу своего героя — последующее десятилетие. На страницах его романа на наших глазах вместе с жизнью его главного героя будет уходить влага жизни, уходить в песок. Пересыхает речь, садится голос говорящих. Как структура почвы, протуженная тяжелыми тракторами, разрушается структура общества, теряют форму даже домашние беседы старых знакомых. Сцена смерти Живаго — прямое, вещественней некуда, воплощение задыхающейся жизни.

ТОНКИМИ нитями связан роман с художественной мыслью современников поэта. «Любимый цвет ее был лиловый, фиолетовый, цвет церковного, особо торжественного облачения, цвет нераспустившейся сирени... Цвет счастья, цвет воспоминаний, цвет закатившегося дореволюционного девичества России казался ей тоже светло-сиреневым». Что-то напоминает сам цвет этих воспоминаний — нечто написанное гораздо ранее Пастернака скупым на краски писателем. Его герой, еще более близкий к автору, чем Юрий Живаго к Пастернаку, видит сон, в котором идет снег: «Все было бело. И я понял, что это Рождество. Из-за угла высочил гнедой рысак, крытый фиолетовой сетью». И проснувшись, понимает — «Фиолетовая сеть на рысак — это был год 1913-й. Блестящий, пышный год. На Рождество я вел Софочку в кинематограф, снег хрустел у нее под

ботинками, и Софочка хохотала». И, вытирая заплаканное лицо, знает проснувшийся: «От всего, что сверкало, от Софочки...», фиолетовых помпонов, — остался только я один на продранном диване в Москве ночью 1923 года. Все остальное погребло». Это пишет почти ровесник Пастернака Михаил Булгаков в том самом 1929 году, который автор романа о Юрии Живаго положил годом гибели своего героя.

Эти писатели совсем по-разному встретили роковые события века. Но герои Пастернака и Булгакова сошлись через годы на страницах их прозы в плаче об утраченном мире, с уходом которого пала для них и вера в «цену собственного мнения».

МИНУЯ непосредственных предшественников и современников, «Доктор Живаго» тянется к своему истоку — романам Толстого и Достоевского, говоря о жизни, жизни человеческой, которая, лишь единожды каждому данная, не может быть материалом, не может комкаться и расплющиваться ради чего бы то ни было, будто бы более важного, чем жизнь. В отличие от великих своих предшественников, у которых это отношение к жизни было естественным фоном для обсуждения иных, важнейших для них вопросов, Пастернак защиту жизни сделал темой главной.

Готовы ли мы к чтению романа? У многих из тех, кто сегодня читает роман, утрачено, я бы сказала,

отбито чувство самоценности жизни. Каков объем нашей памяти, памяти ума и сердца? Не вслушиваясь в голоса безвинно и безвременно умолкнувших соотечественников, что поймем, что почувствуем мы в романе? Ведь автор писал его, помня и чувствуя. Сегодня соотечественники Пастернака, будем надеяться, намного ближе к тому объемному взгляду на события революционного времени, который главенствует в романе. Если наше сознание действительно приблизилось к роману, значит, еще раз подтверждается, что художник всегда оказывается впереди своего общества, иначе он просто не был бы художником.

Что готовило эту встречу? Наверное, и некоторые романы наших современников, и сочинения Булгакова, появившиеся 20 лет назад. Но скажем и другое. Публикация романа «Мастер и Маргарита» (1966—1967), так надолго нас всех ошелолившая, опередившая время, — не была ли она ускорена случившимся в 1958 году — трагическим финалом литературной жизни Пастернака? Не было ли это полусознательной потребностью искупления?

Сквозь сегодняшнюю неминуемую «позолоту наследия», через кованность «литературного памятника» пробьется, будем надеяться, проникнет сегодня в нашу жизнь живое содержание романа. Но — не будем слишком благодущны и умиротворены, — нечто и пропало для восприятия навсегда, ушло с жизнью тех поколений, которые внутренним своим опытом, жаром своего ожидания взволнованнее, чем мы, готовились к встрече с этим романом и не дождалась ее.

Огромны пустоты в нашей памяти и пустоты в нашем сегодняшнем духовном контексте. Та ткань, на которой плотно должны держаться новые, то есть когда-то нами же и пренебреженные культурные ценности, прорвана во множестве мест и провисает. И самые значительные явления, придя в нашу жизнь, далеко не всегда с ней сцепляются — бывает, они будто скатываются с нас, как с гуся вода.

Одна из последних страниц романа показала мне когда-то самой страшной в русской литературе. В 1943 году прошедшие лагеря, выжившие и уже давно воюющие друзья Юрия Живаго слушают бельевщицу Таню — «Ну, конечно, я девушка неученая, без папи, без мамы, росла сиротой» — и узнают в ней дочь Юрия Живаго, ничего не знающую об отце... Сохранив в лице своем его черты, она потеряла связь с его речью, с питанной им и продолженной культурной традицией. Это она сегодня будет читать роман Пастернака, она и дети ее.

Божественная красота мира и ценность человеческой жизни внушали Пастернаку некое единое чувство. Тот, кто им обладает, непременно предполагает его и в другом и ощущает как естественное условие любой социальной связи — беседы ли, совместного ли труда — значение личности — своей и любой другой. Дорога к этому для всех нас еще далека. И чтение романа да будет шагом по ней.